

тоне, Лютере, Паскале, Плотине и целом ряде других великих людей он искал и наладил созвучие с тем, что мучительно тревожило его самого. В этом его «аргументация», захватывающая, порою неотразимая. Он находит в великих душах их великие провалы, противоречия и несообразности, их человеческие усилия высвободиться из роковых цепей, их великий страх перед возможным освобождением. Если для Шестова несомненно, что жизнь — тюрьма, то ему еще неизвестно, какова та жизнь, которая расцветает за ее пределами, и что делать в ней человеку, отягченному многотысячелетним балластом эллинского мира, ставшего его природой и плотью.

Шестов не приемлет академической философии, но академическая философия приемлет Шестова. Его выбирают в президиум общества имени Ницше, его печатают в *Jahrbücher*, печатает *Revue Philosophique*<sup>2</sup>. Немецкая, французская и английская философская критика в лестных, часто не по-академически восторженных выражениях приветствует его книги. Не знаменательное ли это явление? Не означает ли оно, что назревает в философских кругах какой-то поворот, в сторону освобождения философии от великой эллинской традиции? Не лучший ли это дар, который можно преподнести Шестову в шестидесятую годовщину его рождения?

## **С. В. ЛУРЬЕ**

### **Истина Библии и истина философии (К шестидесятилетию рождения Льва Шестова)**

История еврейской духовной культуры должна отметить факт чрезвычайного культурного и философского значения. Еврейской философии в том смысле, в каком ее понимают культурные народы, не было и нет до сих пор. Были философы евреи, но дело их творчества — это нужно решительно признать — принадлежит не еврейству, а обще-европейской культуре. Евреи философы не только никогда не были выразителями того огромного духовного напряжения, которым жило еврейство, но по существу денационализировали еврейскую мысль. Соблазненные величием и значительностью греческой философии и европейской философии, составляющей ее дальнейшее развитие, они игнорировали те коренные национальные духовные мотивы, которые могли бы составить базу для еврейской философии. Пропитанный всецело эллинской культурой и в частности амальгамою платонизма и стоицизма, господствовавшими в его время, Филон поставил своею задачею ввести еврейство в круг современных ему философских идей<sup>1</sup>.

Его аллегорическое толкование библии в конечно счете сводится к попыткам доказать, что священная еврейская традиция, правильно истолкованная, находится в полном согласии с эллинской истиной. Нет нужды доказывать, до какой степени при этом толковании извращался смысл и дух священного писания.

В сущности, такова же была цель и Маймонида<sup>2</sup>. Значительная часть первой книги «Путеводителя заблудших» (гл. 1–30 и 36–46) посвящена объяснению библейских слов, имеющих разные значения (омонимов) для того, чтобы подготовить читателя к аллегорическому толкованию. Весь трактат по существу есть верноподданнический панегирик «князю философии» Аристотелю в духе, господствовавшем тогда в образованных арабских и еврейских кругах. В нем нет ничего, на что сочувственно могло бы откликнуться еврейское национальное сознание. Глубокий знаток еврейской традиции, Маймонид изменил ей в философии. Если неверно предание об отступничестве Маймонида от еврейства, то безошибочен инстинкт, подсказавший его.

Спиноза гением затмил своих предшественников философов-евреев; но его философия есть по существу отрицание всей еврейской традиции. Если Маймонид с осторожностью и колебаниями вводит аристотелевскую необходимость, то идея абсолютной необходимости, Бога необходимости у Спинозы есть бесспорная противоположность Богу свободной творческой воли еврейства. Синагога, отвергшая Спинозу как «кофер беикор»<sup>3</sup>, руководилась не столько фанатизмом, сколько инстинктом национального самосохранения.

Из современных философов разительный пример Германа Когена<sup>4</sup>. Его основательное знакомство с еврейской письменностью, его несомненная любовь к своему народу не предохранили его от того, что как философ он не воспринял в еврействе национальных мотивов, которые могли бы и должны были бы служить материалом для философии. Зачарованный идеей автономной морали, он воспринял иудаизм как моральную субстанцию по преимуществу. Духу Канта он принес в жертву дух Синая и Иудеи. Истолковав еврейскую традицию в духе кантианства, он этим самым отверг ее существо.

В учении Бергсона, выступившем в ранних, самых замечательных трудах своих против господства интеллектуализма в философии, можно усмотреть черты, роднящие его с духом еврейской традиции. Но в этом смысле о Бергсоне трудно сказать что-либо более определенное. Он сам после первого своего этапа, пройденного с совершенно исключительным блеском, заколебался и замолк\*.

---

\* Я не упоминаю о Соломоне Маймоне, Людвиге Штейнтале, Гуссерле и ряде других менее значительных философов евреев<sup>5</sup>. То, что о них можно сказать, было бы лишь повторением с незначительными изменениями того, что указано выше о Филоне, Маймониде и Г. Когене.

Лев Шестов первый из крупных философов евреев национален в самом полном значении этого слова. Это утверждение может показаться парадоксальным лицам, неполно или поверхностно знакомым с его работами. Шестов нигде не пользуется материалом еврейской традиции (кроме Библии), сам лишь в очень редких случаях указывает на нее как на живой родник, питавший его ощущение мира, пишет подобно своим предшественникам философам на языке народов и обращается в своих книгах, подобно им же, к культурному космополису.

Но чем определяется национальный характер философа? Не языком, на котором он пишет, и не материалом, которым он пользуется. Если верно, что национальная особенность определяется прежде всего своеобразием восприятия и ощущения жизни, т. е. глубокими, заложенными в народной душе психическими факторами, решающими судьбу народа и определяющими его духовный облик, то лишь этот критерий применим к распознаванию национального характера философа и его учения. Если «истина» философа произросла из этих глубоких корней, она национальна независимо от того, как, в какой форме, на каком языке, с какой аргументацией эта «истина» выявлена. Философия не безлична и не анациональна, как наука. Подобно искусству она связана с самым интимным, с самым затаенным в человеческой душе, а интимное и затаенное в глубинах подсознательного всегда национально.

С этой точки зрения Лев Шестов глубоко национальный еврейский философ.

Я не задаюсь теперь целью изложить философию Шестова. Я хочу лишь указать на ее кровное родство с тем, что составляет глубочайшее ядро исконной еврейской традиции.

Еврейская философия жила и живет по сию пору под знаком Эллады, и противопоставлять то, что я считаю элементами еврейского миропонимания, осознаваемого философией, можно лишь греческой философии. В чем же заключаются основные ее принципы, одинаково присущие всем системам и школам?

Философия греков искала начала и сущности вещей. Ища сущности вещей, она этим признавала, что то, что в вещах воспринимается нашими чувствами, не составляет их сущности; не составляет сущности потому, что наблюдаемое и воспринимаемое нами в вещах изменчиво, преходяще, подвержено уничтожению и смерти; сущность же *per definitionem* должна быть неизменна и вечна. Что же в вещах неизменно иечно? Только идея, которой они являются несовершенным воплощением. Отдельное дерево может сгнить, сгореть, может быть подвержено всевозможным превращениям, но идея дерева — его сущность — неизменна, и в дереве только идея его бесспорно истинна. Но идея воспринимается не чувствами, а разумом, следовательно, только разум есть орган познания истины, или познания, которого

добивается философия. Разум познает истину, следуя определенным законам; следовательно, законы разума неизменно являются и законами вещей. Разум есть, таким образом, последний судья и неограниченный властелин в области истинного познания, и сущность самого разума вырабатывается идеей абсолютной необходимости и закономерности. Идея необходимости не подчинена ничему и сама царит над всем: над вещами, над людьми и над богами. Философия и народные верования греков сходятся в этом без вопросов и колебаний. И неудивительно. Взгляд на соотношение идеи и конкретной реальности — не случайный плод умозрения философов; мы имеем здесь дело с выявлением расового или народного мироощущения, получившего свое теоретическое обоснование в философии и практическое оправдание в науке: эллин в непосредственном восприятии осознавал общее в явлении, или его идею, в большей степени, чем конкретную индивидуальность. В эллинском сознании мир раздваивался: с одной стороны, непосредственно данная изменчивая, конкретная действительность — философия признала ее иллюзорной, — с другой стороны, мир идей или сущностей, мир истины, добра и красоты — единственный предмет философского познания.

Этого раздвоения еврейское сознание не знало. Между чувственным и разумным познанием не было той пропасти, которую образовал между ними рационалистический уклон эллинского гения. Восприятие общего и индивидуального у евреев было слито, и мир воспринимался во всей его многообразной, изменчивой, текучей конкретности; категории общего и индивидуального не проектировались в сознании как формы познания. Мир был один — непосредственно данный, и познавался он жизнью в нем, а не разумным о нем логическим мышлением. В силу этого в древней еврейской психике элемент воли получил тот перевес в восприятии, который в греческом сознании имел рефлектирующий разум. Если не считаться с этим основным характером еврейской психики, все в ней остается непонятным и необъяснимым. Создание мира из ничего одним лишь актом творческой воли Бога — мысль, явно нелепая с точки зрения эллинского разума, пророчество, заменившее научное разумное предвидение, лиризм, с его безудержной эмоциональной силой, не вмещающейся ни в какую художественную форму и не знающей эллинской художественной меры, религиозность в интимном общении человека с Богом, с его живою, постоянно действующею волею, теократический идеал («и будете вы мне царством священников и священным народом»<sup>6</sup>), которому часто земное разумное устройство было враждебно, как служение чужим богам, борьба за чистоту священного писания — талмуд с его казуистикою и эзотерическими учениями — ко всем этим явлениям, в которых дышит национальный дух еврейства, можно подходить, лишь имея в виду своеобразную еврейскую психику.

Львом Шестовым эта психика воспринята полностью. Он прошел русскую школу, и лишь пройдя ее, приобщился к общеевропейскому философскому движению. Русская школа чуткая, тревожная, она не давит многовековой традицией и потому не убивает и не уродует сильную индивидуальность. Менее всего, в начале своих дерзновенных выступлений против господствующих философских течений, Шестов думал о национальном источнике своего творчества, и осознал он его лишь много лет спустя, когда созрела и окрепла его мысль, и выяснилась вся противоположность его путей и путей греческой и общеевропейской мысли.

Для Шестова разум не последний судья и не источник познания истины. Он проверял разум на жизни великих людей, вольно и невольно выдавших тайну своего внутреннего опыта, и оказалось, что в самые решительные моменты жизни разум оказывается бессильным и немощным, и истины его бесплодными и ненужными. Что разум в средней полосе нашей жизни успешно выполняет назначенную ему философией роль, — для Шестова не подлежит сомнению, но на окраинах жизни он безвластен, его законы теряют принудительную силу, его истины обращаются в пустые места. На место разума становится волевое устремление освободиться от разума, от необходимости, от оков. Этот мотив борьбы с суверенным разумом, т. е. с основой и исходным пунктом философии, проходит через все труды Шестова и составляет исходный пункт его философии. Разум, создавший несуществующий мир идей и отрекшийся от существующего реального мира; разум с его верховным принципом непреложной необходимости есть «сверхъестественное наваждение», о котором говорил Паскаль. Это та смерть, которую Бог наказал первого человека за вкушение запретного плода древа познания. «Читатель, — говорит Шестов в предисловии к своей новой книге — которого не оттолкнут долгие странствования по душам, давшие материал для этой книги, убедится, что в Св. Писании есть Истина...» Какова же истина Св. Писания? Это истина живой, неподчиненной никаким принципам и законам божественной творческой воли, истина, являющаяся не только предметом религиозной веры, но могущая стать основным принципом философии.

Борьбу Шестова с рационализмом нельзя смешивать с антирационалистическими системами, которые столь же древни, как рационализм. Тенденция Шестова идет гораздо дальше и глубже, чем какая-либо из известных оппозиций рационализму. Для него вопрос не в том, дает ли разум или чувства истинное знание или возможно ли вообще истинное знание, а в том, что самая постановка вопроса об истинном знании предполагает ряд предпосылок или разумных суждений, которые не могут быть доказаны, и мало того — как мы видели выше — вязнут и блекнут в известных сферах напряженного внутреннего опыта. Другими словами, проблема Шестова приблизительно может

быть иллюстрирована сказанием о грехопадении. Был ли прав Бог, видевший смерть в познании, или был прав змей-искуситель, внушивший человеку, что познание делает его равным Богу. Если прав Бог, то как возможна жизнь вне познания добра и зла.

В указанном отличии греческого и еврейского мировосприятия нельзя не отметить некоторой весьма важной черты. Греческое восприятие мира шло в направлении наименьшего сопротивления. Легче всего принять идею, чем конкретное явление, и неизмеримо легче мыслить идеями, чем конкретными представлениями, как легче оперировать над алгебраическими знаками, чем над арифметически именованными числами. Эта легкость восприятия и мышления давала спокойствие, уверенность и уравновешенность. Еврейское мышление, шедшее в направлении наибольшего сопротивления, мучительно, неуравновешенно и тревожно. Уверенность давалась не логическим процессом, а глубоким эмоциональным напряжением, форма мышления — не логическая схема, а насыщенная образность, лиризм внешне хаотический, внутренне закаленный и цельный. Таков и характер философии Шестова. Бремя его тяжкое; и над ним тяготеет проклятье первородного греха, весь соблазн рационалистического познания. Эллинская мудрость, составляющая идеологическую основу всей культуры европейского человечества, блестяще себя оправдала. Тысячелетиями поколения на ней воспитывались, и она стала в известном смысле второю природою их. Проблема, выдвинутая Шестовым, проблема возможности иного строя жизни, основанного не на истине философии, а на истине библии, не сразу, быть может, будет понята средним европейцем, жизненный повседневный опыт которого знает лишь дилемму: разум или безумие. Но проблема Шестова, поставленная и понятая, приобретает над сознанием власть, подобную власти разума, и неудивительно поэтому, что с годами силы Шестова не слабеют, а прибавляются, ибо, по-видимому, он все ближе подходит к питающему его источнику живой воды.

Как известно, светоч еврейской науки Рабби Акиба запретил углубляться в тайны *Maasse Bereschith* (космогонии) и *Maasse Mercabah* (метафизики) троим в совместной беседе<sup>7</sup>. Говорить о них учителю можно только с одним с глазу на глаз и то лишь тогда, когда собеседник — ученик — человек исключительных дарований.

Когда Мессия придет и воскреснет великая тень Рабби Акибы, он среди евреев философов не найдет более достойного, чем Шестов, для совместного с ним углубления в тайны *Maasse Bereschith* и *Maasse Mercabah*.

Французский философ и критик Готье говорит (в статье своей в *Mercur de France*)<sup>8</sup>, что позорно для французской литературы, что не все книги Шестова переведены на французский язык. Что должен сказать еврейский критик по поводу того, что ни одна из его книг не переведена на еврейский язык?